

РАКАЛИЯ

Филипп Хорват

Сказки, которые ты не забудешь

18+

Филипп Хорват

Ракалия

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Хорват Ф. А.

Ракалия / Ф. А. Хорват — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Молодой петербургский адвокат находит на чердаке рукопись неизвестного автора и с головой окунается в придуманные им сказки – настолько они необычные, не похожие ни на что им прочитанное ранее. Чудесный и необычный сказочный мир разворачивает отдельную историю, которая магией трагического повлияла в своё время на того, кто её написал. И всё чётче проявляет себя странная ракалия в жизни писателя: загадочная то ли болезнь, то ли тёмная метка судьбы, от которой, кажется, не убежать и самому адвокату в гибнущей под натиском революции стране...

Содержание

II	12
Во сне и наяву	15
Гумбольдт	18
Безумные приключения Попугайчика начинаются: птичья совесть	25
Небылица о том, как Большая Белая Королева познакомилась с Маленьким Чёрным Слугой	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Филипп Хорват

«РАКАЛИЯ»

Для обложки использована иллюстрация со страницы https://unsplash.com/photos/TE9XKN_P0kw

I

– Ах, папа, отчего ты такой несуразный? Лови же, лови, это несложно, – от звонкого смеха Леночки закладывало уши, но, боже мой, до чего она была прекрасна сейчас. В этом ситцевом сиреневом платьице, с поясным хлястиком, который болтался из стороны в сторону, с огромным белым бантом, аляпистым кустом посаженным на её затылок, с совершенно кнопочным блестящим носом – его я любил больше всего на свете. Никого чудеснее моей Леночки не было во всём мире, и это правда.

В славном танце кружился чудный летний день, а мы играли в бадминтон, тренькая сетками ракет по летучему радостному волану. Тут же, неподалёку, прятался в соцветиях жимолости карапуз Левичев и, кажется, поедал припасённые абрикосовы конфеты, но мы с Леночкой забыли о нём.

Триньк! – триньк! – триньк! Мчался, кружась, туда-сюда этот несносный волан, и Леночка смеялась, когда я в очередной раз «промахивался» по снаряду.

– Совсем ты не умеешь играть в бад-мин-тон! Ах, папа-папа, руки-крюки. Даже Левичев выдерживает больше ударов, – выговаривала Леночка, и я был только рад с ней согласиться.

Но вот Леночка уже притомилась, подол платьица испачкался, а вымазанный шоколадом Левичев вылез из укрытия. С ним играть никакого желания не было, и спасла меня заглянувшая на полянку Ольга.

Она принесла на большом серебристом подносе стаканы с апельсиновым соком; было, правда, жарко, всех мучила жажда.

Расстелив по траве покрывало, мы вчетвером бухнулись, неловко распаковывая еду из припасённой заранее корзинки. Есть, в общем-то, не хотелось, но кто же откажется от пикника, задуманного милой, очаровательной Ольгой? Честно говоря, ради неё мы с Леночкой и затеяли эту дачную вылазку в выходные – мне казалось, что именно тут, на природе под Келломайки, получится, наконец, сказать хоть что-то...

А впрочем, если и не получится, то один взгляд этих выжидающих, лучащихся льдистой зеленью глаз стоил всей дачной затеи.

– Что-то вы, Фёдор Александрович, сегодня тихий какой-то, будто сам не свой... Все мыслями в конторе, бумаги вас, наверное, не отпускают, – говорила Ольга, поигрывая ленточкой брови. – Строгий у тебя папа, Леночка, давно я таких не видела.

– Да нет, ну что вы, Ольга, это просто жара, понимаете ли. Утомила меня своим бад-мин-тоном Леночка. Не поверите – играет лучше Шарлотты Купер, я уж так тут носился и совершенно вымотался. Вы с соком спасли от полного разгрома.

Левичев скептически хмыкнул, а Леночка снова залилась смехом, расплёскивая оранжид на бесконечно испачканное платье. Я чувствовал, что плету глупости, даже краснею перед всеми, словно сам восьмилетний мальчишка, но, с другой стороны, – плести светские беседы я никогда не умел.

– А вот зря вы всё-таки, Фёдор Александрович, не взяли домик у нас в Келломайки на сезон. Тут же до города час езды на поезде, – уж если вы такой работник, то и отсюда бы добирались по утрам. И вечером то же самое. А у нас, видите, как уютно и спокойно. И до моря в пять минут пешком, никакого тебе шума, ругани живейной, красота!

Вокруг действительно разливалось умиротворение, от которого городское сердце стайвало быстрее мороженого на блюдечке. И с Леночкой мы были бы тут счастливы, однако ж не мог я признаться Ольге в том, что с деньгами у меня не так чтобы очень в последнее время. «Ротгауз, Денисовъ и сыновья» хоть и видной адвокатской конторой в Петербурге прослыла, но весной, а особенно летом нынешнего года совсем уж забуксовала. Я, конечно, пописывал под псевдонимом фельетоны и рассказы для «Свистка», но что с них заработок?

Пикник не задался: Левичев кидался в Леночку хлебными шариками, та в ответ дразнилась языком, Ольга постоянно что-то спрашивала, а я мямлил, посматривая на эти сочно-красные, с милыми трещинками губы. Как же хотелось захватить их, попробовать на вкус, мять неистово, задыхаясь от счастья, – так ведь близко всё это было, так возможно...

Сквозь охватившую дымку мечтательного дурмана пробился её голос:

– ...не хотите? Я дам фору, если вы и правда плохо играете. Хотя, признаться, к волаичу я не прикасалась лет уж так сто.

Я кивнул, приободряясь и зачем-то давя пальцем выскочившую на покрывало виноградину.

И пока Левичев гонялся за Леночкой вокруг старого дуба, мы заиграли.

Ольга втянулась сразу: её взятая в плен синей лентой коса комично выкручивалась в воздухе, что отвлекало. Я решил, что буду биться почти в полную силу, но всё же не смог отказать себе в удовольствии махнуть ракетой мимо назойливого волана.

– А вы, Фёдор Александрович, отражаете неплохо, зря на вас Леночка наговаривает, – придерживая плисовую юбку, говорила Ольга. – А у нас, знаете, вчера Бергамот мышь поймал. Я вечером, уже после чая, стелила постель, и тут Левичев несётся с паровозным рёвом: «Мышь, мышь, Бергамот мышь сцапал». Я смотрю – правда сцапал. Грыз её возле буфета, такая гадость, вы не поверите...

В то, что ленивый, приبلудный раскормленный ими кот станет разоряться на мышь, я бы действительно не поверил, если бы не знал об инстинкте. На Бергамота давил инстинкт охоты, меня же сейчас изнутри поджигал инстинкт дикой страсти. Ах эта плисовая юбка, старательно удерживаемая Ольгиной ладошкой...

И, прикусив губу, я тринькнул по волану с таким азартом, что он вспорхнул в небеса совершенно по-птичь. Зацепившись едва-едва за кучную ветку яблони, перемахнул через изгородь и вскочил в распахнутую дверцу чердачной мансарды.

Что за беда...

Ольга, зажав рот рукой, захихикала, я же только хмыкал под расстрельным огнём детских восторженных криков.

– Ну что, Фёдор Александрович, полезете наверх вызволять бедолагу?

Это она меня, стало быть, решила подначить. Почему бы и нет? Не то, чтобы это было важно, бадминтон сегодня, видимо, всем надоед, а тут хоть какое-то приключение.

Прихватив с полянки припасы, мы все разом ввалились через калитку. Меня погнали за приставной лесенкой, одиноко отдохавшей у скошенного набок амбара. Прислонив её к стене дома, я аккуратно поставил ногу на ступеньку (прочна ли?), и тут Ольга ещё подлила яда:

– Только не говорите, дорогой Фёдор Александрович, что высоты боитесь. У вас у самого под три аршина роста, не поверю.

И уже я лез, перебирая руками занозистые перекладыны, даже не глядя по сторонам, к чертям её, высоту.

Ввалившись в душный полумрак мансарды, я тут же оступился и поехал ногой в сторону, но успел собраться, схватился за обрывки верёвок, ткнувшихся в лицо.

Навещал эту мансарду в последний раз бог знает кто и когда, поэтому даже сквозь прищур проступавших через прорехи крыши вечерних лучей проглядывали запустение и хаос. Навалены тут были странные тюки по углам с притаившимися на них корзинами, выглядывал

с осторожностью дырявый диван из-под пропылённых, изъеденных молью ковров, высовывались переломанные подрамники, толпились с насупленными медными оковами сундуки, даже старый побитый уют выполз под ноги. И всё это и многое другое, под завязку было забито вообще тем хламом, который, составляя в своё время смысл жизни какого-нибудь дома, рано или поздно оказывались на никому не нужной свалке (вроде этой, чердачной). Обломки разной мебели, пришедшая в негодность посуда, облупившиеся игрушки, выцветшая одежда и трости и прочий мелкий скарб назойливо лез изо всех сторон, привлекая внимание заглянувшего в случайные гости человека.

Найти в этом скоплении старья волан не представлялось возможным, и тем не менее, нашарив выглядывавшую из боковой дыры свечку, я запалил фитилёк, огляделся.

В прыгающих вокруг тенях мансардное пространство ещё более сузилось, напившись одновременно дешёвой мистикой. Тут же вскарабкался на кривое велосипедное колесо паук с подбитым глазом, заскрежетало что-то в дальнем углу, засвербел под крышей ветер. А волана по-прежнему не видать.

Простившись с надеждой выволить его из неведомой дали, я, как это часто со мной бывало, заинтересовался другим. Почему-то захотелось изучить недра одного из ближних сундуков, и, утвердив приснувшую воском свечурку на разбитой тарелке, я взялся за ярлычок ничем не скреплённого засова. Крышка со скрипом поддалась и в облаке густой вонючей пыли опрокинулась навзничь.

Внутри под мятущимся светом показалась первым делом большая мутная лупа в костяной оправе и с выдвигной ручкой. Она венчала собой одряхлевшую бумажную кипу, которую я брезгливо отдернул выхваченной из-за спины спицей. Под бумагой завиднелся дублённый, в разводах сафьян папки – её я аккуратно, кончиками пальцев, приподнял из сундука.

Папка увесистая, солидная; потянув за бахрому тлелых тесёмок, я прираскрыл и в щели увидел стопку пропылённых бумаг, видимо, неплохо сохранившихся в укромном месте. Осмелев, я эту папку открыл совсем, и под ноги скользнул широкий письменный конверт, гулко стукнувший по сандалиям. Подняв его, я воспользовался лупой, расшифровывая под красным гербом мелкий, занудный почерк неведомого адресанта:

«Ея благородію Арбо Софіи Шеффнеръ на пески въ осьмую улицу въ домъ №5 Алексеевко»,

под которым размашистым пятном расплывалась клякса нечитаемой подписи.

Письмо было плотным, запечатанным, и во мне зародилось желание приоткрыть его тайну. В душе закопошились сомнения: с детства ведь внушали веру в неприкосновенность чужой переписки, но мелькнула мысль, что раз уж лежит оно тут затерянным, никому не нужным сором, то, может, почитать?

Из размышлений меня вынес далёкий туманный окрик – звали снизу, со двора и, кажется, щёлкнули камешком по крыше. Глянув ещё раз внутрь сундука, где покоился жалостно расстрёпанный кожаный формуляр, я хмыкнул, сунул конверт в брючный карман, а затем вылез из мансарды на лестницу.

В этот вечер я отпросился у Магнова на ночь в дом к Ольге Михайловне – уж очень она упрашивала погостить у неё с Леночкой. Конечно, для меня самого эта ночь представлялась небывалым счастьем, поскольку я всё ещё тлел надеждой раскрыться признанием.

Мы сидели на веранде всей компанией после хорошего, сытного ужина и тянули обычный свой вечерний чай под бесконечные разговоры о всяком. Даже Левичев устал баловаться и сидел, сонно сложив голову в руки на столе.

Бал правила неутомимая Леночка, щедро рассказывавшая про наш последний поход в цирк Чинизелли. Она хоть и сидела у меня на руках, обозревая арену с вершины, но хорошо запомнила и кульбиты разноцветного клоуна Мяско, вытанцовывающего возле поющих пони, и элегантно вылупляющихся из-за плотных кулис форганга балерин с шестью, и монумент-

тальных слонов, трубящих посреди полной водяной феерии, и много такого, на что я совсем не обратил внимания.

Затем Ольга поведала об их последних приключениях с Левичевым в лесу. Довольно похоже представив надутое лицо мальчишки, она, между прочим, изобразила сценку сбора каких-то поганок вместо подосиновиков, на что проснувшийся Левичев отреагировал несвойственной ему лёгкой истерикой. И успокоился только после того, как его нарисовали защитником при внезапно выступившего из чащобы Михал Потапыча, – дескать, прогнал незваного гостя он одним свистом и палкой.

Затем испытывающие глаза изо всех сторон подступили ко мне, а я, как обычно, смутился. Неловко пряча руку в карман, нащупал плотное тело конверта и тут же, сам того не ожидая, решил им спасти положение.

– Вот-с, это я нашёл там, в мансарде. Письмо, как видите. Хотел было почитать в одиночестве, но сейчас думаю – а вдруг и вам будет любопытно. Вы как, Ольга Михайловна?

Она задумчиво кивнула, заметив только, что неловко при детях было бы читать что-то любовное. Согласившись с ней, я откупорил конверт, и пробежав по первой строке глазами, объявил – нет, не любовное.

Получив всеобщее добро, я, наконец, углубился в чтение.

«Здравствуйте, дорогая, горячо любимая маменька.

Сижу под зелёной своей лучиной в смоленском заточении, смотрю на фигуру шёлкающего клювом в клетке Евлампия и отчаянно тоскую. Тоскую, потому что никак не выбраться в Петербург, хотя и очень хочется; дел бы там переделал невпроворот. Перво-наперво, конечно, мне решить бы казус с Кукоцким, да вы и сами знаете, о чём это. Вас я уже просить не могу, поскольку грех просить излишнего. Потом нужно поторопить Ивана Игнатьича, но он, как предполагаю, весь сейчас в журнальных делах. И ещё, конечно, Басивлевс, будь он неладен...

А между тем, что действительно важно для меня нынче, так это новая повесть. Которая бесповоротно кончена, и ни единой правки сюда больше не сделаю, клянусь, чем изволите! Вот её бы и передать в руки хотя бы Августову, или снести в «Новый Парнас»: там, говорят, очень нуждаются теперь в свежем.

А то, что у меня свежее – даже не сомневайтесь. Вот я немножко распишу, приоткрою завесу в этом письме (хотя вы и сами сможете всю рукопись изучить). Эта повесть сама по себе неоднородна и состоит из некоторого десятка различных историй. А истории взяты не из реальности, я их придумал особенным фантастичным образом. Это что-то и сказочное, и не совсем, где-то былинное, но опять же – не очень. Сказка, она ведь, как вы понимаете, всего лишь слепок, оттиск с того, что происходит в жизни. И не всегда этот слепок бывает светлым, о чём мысли проскальзывают у меня в написанном. В общем, более не промолвлю ни слова, потому как не хочу портить удовольствия от чтения. Читайте, маменька, читайте и несите скорее рукопись... ну можно даже Шмелёву, будь он неладен со своими «Записками европейского наблюдателя».

Что меня огорчает, так это невозможность сопровождения написанного лично. С домом, как вы уже, наверное, догадались пока что никаких подвижек. К тому же Машенька в последнее время совсем слегла; к её основной болезни добавилась простуда, лютая, с температурой под сорок. Доктор Чеснаков ничего кроме компрессов и камфорного масла не рекомендует, говорит: слабость большая, организм сам должен бороться с острой стадией. Но я как раз этой стадии и опасуюсь; третий день уж лежит, едва заговаривая. А я ей, кстати, пробовал почитать кое-что из рукописи, вроде понравилось. Хотя, один б-г ведает, как я терпеть не могу бежать впереди паровоза, но перед Машенькой почитать можно, её вкусу я хотя бы доверяю...

В остальном дела слегка наладились. Виделся, между прочим, с Шуншаковым, и в этот раз проговорили с ним о литературе два вечера подряд. Я тут совсем отстал от столицы, дышу пылью в медвежьем углу, ничего не знаю... Так, говорят, Фёдор Михайлович некий фурор

совершил новым романом, а только когда я теперь доберусь до него? Тоска, вселенская тоска хватает за сердце и не отпускает, а за окном бесконечная метель...

Но, впрочем, грустить уж надоело; надеюсь, что по весне прибуду и свидимся. Покамест отсылаю вам, что имею и жду хороших вестей, непременно пишите. Арнольду передавайте мой низкий поклон, и Наталье Андреевне тоже, а в особенности – Сашеньке (до сих помню этот его искристый взгляд из-под чёлки, ну надо же, чудо как хорош!).

С теплом и любовью, ваш сын, Марк».

Закончив читать, я отложил пенсне в сторону и глянул напротив. Ольга Михайловна сидела, подпирая рукой задумчивую щёку, а Леночка с Левичевым уже спали в подушках качели.

Вокруг всюду распевали невидимые сверчки, крепко пахло жимолостью, и было хорошо на сердце, приятно, будто не письмо чужого человека я читал только что, а стихи и свои собственные, посвящённые Ольге (у меня такие были).

Не зная, что сказать я выразительно хмыкнул. Ольга откликнулась, всё ещё, видимо, витая мыслями в услышанном:

– А что же он такого написал, Фёдор Александрович? Не знаете? Это же безумно интересно, правда?

Я вспомнил о кожаной папке из сундука, в которой, возможно, как раз и хранилась рукопись этого Марка. Письмо меня самого, человека, имеющего отношения к прозе, немного раздражило, и я тут же решил во что бы то ни стало залезть снова в мансарду – изучить сундук.

Случится это, впрочем, завтра, а сейчас, кажется, представился золотой момент, ситуация, которую я ждал с мая, с того самого часа, как в Летнем саду меня пронзили сквозь веточку невозможной сирени эти льдистые, испытывающие на прочность глаза.

В горле внезапно случилась горячая засуха, но я волевым усилием преодолел её и произнёс:

– Послушайте, Ольга...

И тут же снова этот стремительный, как будто немного удивлённый взгляд на мне, всё знающий и насмешливо раздевающий душу, но в то же время затевающий свою игру.

– Я... я... давно уже раздумываю над... этим... и хотел выразиться... в некотором смысле... Понимаете, это не просто сказать вот так, лицом к лицу... Тем более Леночка, вы должны понимать...

Вскинутая дугой Ольгина бровь показывала, что разворачивающаяся сцена, скорее всего, накрыла её душу тишайшим восторгом. Ох, эта женщина!

– При чём же тут Леночка, Фёдор Александрович? Вы, если хотите высказаться прямо, не томите.

Ах, чёрт возьми, но как, как вымолвить это последнее слово вслух?

– Гхмммм... видите ли... такая уж оказия, вы только не сердитесь... ргхм... но так уж получилось, что я вас люблю.

* * *

В Келломяги я вернулся спустя неделю и без Леночки – она осталась на попечении брата. Протянув через калитку букет каких-то цветов, я неловко закашлялся, но Ольгу Михайловну этим, кажется, не смутил.

Приняв цветы, она с улыбкой щёлкнула щеколдой и, едва кивнув, пошла к дому. А я, поскользываясь в грязи после недавно прошедшего дождя, – за ней.

Мы вошли через веранду в гостиную, и она меня оставила, выйдя с букетом на кухню. От полной растерянности и неловкости я бесконечно тёр пенсне и ходил, разглядывая всё вокруг так, будто видел впервые. Под ноги кидались старые, стёршиеся по бокам кресла, неприветливо посматривал со стороны столик с накиданными журналами, топорились отовсюду

полки с толстенными фолиантами, нависали часы, а я решительно не понимал о чём сейчас буду говорить.

Высказаться, наверное, следовало бы о том, что произошло между мной и Ольгой тогда, на вечерней веранде, но печаль в том, что, на самом деле, ничего ведь и не произошло. Настолько ничего, что сердце от сумбура и смутной недосказанности покрывалось неприятным хрустким льдом, будто ожидая совсем уж плохого.

Впрочем, обстоятельства происшедшего за неделю были вытеснены кое-чем другим, связанным с прочитанным тем вечером письмом. На днях прояснились подробности судьбы Марка Арбо (который оказался никаким не Арбо, а вовсе Ракитиным), адресанта письма, человека странного, несчастного и закончившего жизнь печально.

Полученные сведения ещё больше подогрели интерес к его творчеству, от которого и осталась только эта притаившаяся в мансардном сундуке рукопись. Сложно признаться, но корыстный мотив занять его «странные сказки» значительно вырос и, пожалуй, перерос желание расстановки всех точек в отношениях с Ольгой Михайловной.

И удивительно ли, что я затрепетал, едва она заново вышла в комнату: говорить предполагалось обо одном, а хотелось – о другом.

Ольга между тем посматривала пасмурно, тем льдистым взглядом, от которого я был бы рад спрятаться. Как будто ждала чего-то, но разве мог я оправдать эти её притаившиеся надежды?

– Как поживает Леночка? – в явно подготовительном, нейтральном вопросе ощущалась подача – для прощупывания моего настроения и решимости.

Я отбил этот словесный волан, конечно же, криво, неумело, как и обычно. Точнее, вообще не отбил, промямлив:

– Всё нормально. В этот раз отправилась в гости к Геннадию Петровичу, погода, видите ли, не располагает уже загородным прогулкам – осень...

Ольга понимающе кивнула, и, подмяв юбку, присела в кресло. Тут уж нужно было постепенно переходить к делу, но я всё ещё не понимал как.

– Даа... осень. А значит, Ольга Михайловна, вы теперь когда в Петербург?

И снова этот пробравшийся в глаза лёд, в котором я видел отсветы упрёка и жёсткости. В комнате становилось неуютно, даже как-то сумрачно, и это от моей вечной неловкости и боязливости.

Впрочем, я понимал, что деваться некуда и, наконец, решился:

– А знаете ли, Ольга Михайловна, вот то письмо, что мы с вами читали на веранде неделю назад... Представьте какая штука, я навёл справки об этом писателе. Его зовут Марк, он военным писарем служил, в Смоленске под именем, как то бишь его... Виктор Ракитин. И любопытная история, – он был своеобразнейшей личностью, вы не поверите, человек-загадка. Удивительная судьба! Но печальная. А этот роман, о котором шла речь, он, насколько я понимаю, до сих пор хранится у вас в мансарде.

Лицо Ольги Михайловны подёрнулось легчайшей тенью, и глаза, эти глаза – их можно было читать. Отблеск негодования, сменившийся тут же вялым недоумением и сразу равнодушным презрением, – вот чем пыхнули её глаза на долю секунды.

– И что же?

Не сам вопрос, а эта непередаваемая интонация, с которой он был задан, – о, Ольга как же я вас... тебя... люблю. Да, иначе и случиться не могло, это любовь слабого человека, всегда подчинённого воли, цельности, устремлённости. Совершенно безнадежная любовь, которая сегодня подсвечивалась и другим подспудным чувством – удивительной страстью к прятанной поблизости рукописи. И ничем, и никак я не мог объяснить стремления получить её, прочитать, узнать труд, над которым Марк работал три тяжёлых, безнадежных и съедавших его года.

Поэтому только и оставалось опять мямлить, спотыкаться, заикаться, ёжась от вечной своей слизнячьей зябкости:

– Я подумал, что вы могли бы... Точнее, я мог бы, с вашего позволения, разумеется, эту самую папку из сундука определить в какое-нибудь издательство, ежели, конечно, её содержание приемлемо и устроит... ммм... издателя. Как вы на это смотрите?

Она мягко отмахнулась, и в этом жесте опять порхало то холодное презрение, определявшее мою фигуру в её глазах теперь уж точно навсегда. Ах, Ольга, Ольга, но что же я могу поделать?

– Я, конечно, не могу надеяться на то, что текст будет соответствовать, так сказать, приемлемому уровню, но как знать, как знать... Из того, что отыскалось в библиотечном архиве, складывается впечатление – писателем он был хоть и посредственным, но, если можно так выразиться, прилежным. Писарь, что тут сказать; издал под своим именем, между прочим, две брошюры, одна из которых наделала шуму.

Ольга Михайловна поднялась и мрачно переплыла к грустнеющему в сумерках окну. Дёрнув треснувшим шнурком занавески, она отвечала оледенелым голосом:

– Оставьте вы все эти байки, Фёдор Александрович, не к чему. Я давно уже поняла, что с вами каши не сварить, и теперь лишь ещё больше убеждаюсь в этом. Впрочем, обойдёмся без сцен; вам нужна рукопись? Подите, забирайте. И прошу, тут же убирайтесь сами, вы ещё успеете на вечерний поезд... В Петербурге свидимся как-нибудь.

Она так и не посмотрела на меня прямо, лишь искоса сверкнув глазом, двинулась к кухне и звучно хлопнула дверью, закончив тяготивший нас обоих разговор.

Что тут сказать – это было сильно и очень верно с её стороны. Я сам чувствовал, что моя нерешительность, боязнь новой жизни опять победила, а рукопись – это просто отговорка, символ нежелания изменяться. А всё же хотелось найти в сказках Арбо что-то ценное, нечто такое, что компенсировало бы произошедший между мной и Ольгой Михайловной разрыв.

Выйдя из дома и спустившись с веранды под вновь посыпавшийся дождь, я взялся рукой за влажную лестницу. В ближайшие десять минут решится и этот вопрос, ведь стоит только глянуть, прочитать пару абзацев, и я пойму, всё пойму. А дальше – будь что будет.

И вот уже я там, в мансарде, перед сундуком с драматически откинутой крышкой, высматриваю огнём свечи формуляр, под которым либо моя надежда, либо крах.

Застыв тут, я пытаюсь понять – а с чего вдруг всего за неделю чужой рукописный труд внезапно вырос передо мной огромной горой? Да, я увлёкся странным извивом судьбы Марка, с долей мистической подоплёки и банальной трагедией, правда. Возможно, в сундуке, в ворохе бумаг, в этом пляшущем и подмигивающем тайнами почерке я найду что-то, что приоткроет загадку его души и поможет понять, что же привело писаря к печальному финалу, о котором и говорить грустно?

Узнать можно было только одним способом. Сунув руку в сундучий полумрак, я достал расплзающиеся листы и начал читать.

II

Тридцать пять лет, которые закончились ничем

Что мы знаем о Дарксете, урождённом напополам в горе и в счастье у Мате и Румы? Всего только тридцать пять историй, по каждой на каждый год его жизни, внезапно прервавшейся на закате дня Полной Гармонии.

Вот они:

1. В один из часов первой недели после рождения в окошко, под которым висела его люлька, прилетел ворон. Он долго рассматривал спящего младенца, затем удивлённо каркнул «Карррррма мррррака» и тут же вздёрнулся в небо.

2. Дарксет быстро развивался, показывал себя смышлёным ребёнком, но была у него рано проявившаяся особенность – он ненавидел крыс. Настолько, что одну попавшуюся он как-то задушил хрупкими, невинными своими ручками.

3. Играя однажды с ребятами, Дарксет приостановился, сильно задумавшись. И не вернулся к жизни даже после того, как кто-то ловкий запустил мячом в его голову. Так и стоял минут десять-пятнадцать, а потом подпрыгнул метра на три, завис в воздухе секунды на четыре и произнёс пять странных слов. Никто не запомнил, что это были за слова.

4. Читать Дарксет научился рано, к искусству этому приохотил его дедушка Эрль. Длинными летними днями сидели они во дворике книжного склада, перекатывая страницу за страницей, изредка переговариваясь и поглядывая в зеленеющее надеждами небо.

5. Родители Дарксета выставили его из дома студёным лютым днём, когда на морозе застывают вьющиеся по воздуху одинокие снежинки. Он, впрочем, не обиделся на Мате и Руму, а пошёл себе, пошёл, пошёл, пошёл...

6. Придя в один из кабаков нахохлившейся на речном берегу деревеньки. Тут и жил какое-то время, вертясь на подхвате у сумрачного хозяина, огребая оплеухи от забредавших в забегаловку громил. Поговаривали, что один из таких гостей заснул и не проснулся, но была ли в том вина Дарксета – непонятно.

7. Довелось ему тут же, в дальней кабацкой комнате, присутствовать при родах грязной девки Эстерь. Достоверно известно, что дочь Эстерь прославилась на все лесные края под именем Святой Агностьи, и это имя угадал сильно загодя как раз Дарксет.

8. Чуть повзрослев, отправился Дарксет смотреть мир, но дальше ближайшей деревеньки не ушёл, поскольку встретил тут первую любовь. Удивительное дело, но жили они так, как другим бы взрослым жить, – в счастье неизбывном, ничем не утоляемом.

9. А на следующий год счастье закончилось, поскольку с Энейей приключилась беда. В один из странных дней её похитил мучной гигантский червь, который по пути в нору был сожран раптором Снэком, сам Снэк был сожжён огнём возмездия Руэ, на которого управы ещё никто не придумал. Энея же просто исчезла.

10. Дарксет пустился на поиски любимой, но быстро потерялся. По пути не в ту сторону ему встретился кто-то зловещий, затем он гостил у Птицы Мудрости, после чего в не очень тягостном бою он победил лисицу Хали. Энею Дарксет так и не нашёл, и в конце концов поселился в укромном местечке.

11. Одиннадцатый год жизни Дарксета можно считать самым спокойным, ведь именно тогда он начал постигать тайную прелесть одиночества, молчания, наблюдения и погружения. Утонув однажды очень глубоко в самом себе, он встретил Гумбольдта, который сказал всего лишь одно слово.

12. Что это было за слово неизвестно, но известно, что Дарксет откликнулся на зов Гумбольдта и пошёл к нему, и шёл целых три месяца. По пути он встретил мастера Яго, который по доброте душевной подарил Дарксету пишущее оранжевым перо.

13. Перо работало так – воплощало в жизнь всё, что им было выведено. В один из задумчивых дней этого года он написал следующее «Дарксет идёт по мягкой, щекочущей голые пятки траве земли Индории к земле Блуждающей В Облаках Черепахе»...

14. Стоит отметить, что в названии земли была сделана нелепейшая ошибка. Дарксет имел в виду нагорную страну Индарию, Индория же считалась мифологической страной мрачных гномов. Но скользил он не по траве Индарики, а перебирался долгими, тягучими неделями по острому рудниковому камешкам совсем не мифологической подземной Индории.

15. В стране гномов Дарксету пришлось нелегко: здесь он впервые встретил отражение своего двойника в зеркальной поверхности большого озера. И случилось свидание с королевой подземелий Нарией – сумрачно-тоскливой, суровой дамой, пообещавшей вызволить Дарксета из недр Индории.

16. Неизвестно сдержала ли обещание Нария или каким-то чудом он сам выбрался наверх, но в следующем году Дарксет жил уже в городе Малу. Где повздорил с королём Малушем XXXIV Златокудром на ниве спора о божественном.

17. Как-то раз Дарксет женился на прекрасной и дерзкой девчонке без имени. Поселились они в деревушке, прилепившейся к жилому району Малу. Счастье опять же было недолгим, поскольку его разбавило появление третьего, оказавшегося не лишним: девчонка уплыла из жизни Дарксета даже без прощальной записки.

18. Отгоревав по исчезнувшей положенное время, он окончательно решил идти в страну Блуждающей В Облаках Черепахи – зов Гумбольдта не ослабевал. Готовился долго, тщательно, обдумывая каждую мелочь, потому что неизвестно чего там вообще можно было бы ждать.

19. Об этом годе жизни Дарксета никто ничего не знает. Он сам никому не рассказывал никогда, отмахиваясь от вопросов рукой, словно от атакующей стаи назойливых мух-тетёшек.

20. Встретил как-то Дарксет утром наливающегося рассветом дня честного пахаря Бмонгу и подарил ему монету в двадцать три *тулена*, ценность которой неоценима. Бмонга растрогался и пожелал стать вечным другом Дарксету, но тот отказался. У странников не может быть друзей, тем более вечных, потому что таковы правила.

21. В двадцать один год Дарксет приуныл. Он думал о том, что всё уже повидал, всё испытал и впереди его ждёт тихо угасающий очаг уплывающей в никуда старости. Дарксет отстроил в окрестностях шумящего вечностью леса домик с камином из камня *кумея*, сел в кресло-качалку и замер в ожидании. Но тут появилась комета.

22. Сытую пустоту жизни Дарсета долгое время заполняла лошадь Вергилия, любившая по ночам взлетать в небеса с волшебными песнями. Её, впрочем, выкрал в густеющий странным шумом вечер Вечный Вор. А комета к тому времени исчезла.

23. Дарксет проснулся. Он понял, что засиделся. Настолько, что уже и подошвы пушистых тапочек по вечерам вращались, уютно мурлыча, в полог хмелеющего невидимой жизнью леса. Так не годилось.

24. В этот раз Дарксет добрался до Индарики удачно. Тут он узнал от мудрецов важное: к земле Блуждающей В Облаках Черепахе ведёт та одна-единственная тропинка, которая появляется раз в тысячу лет.

25. В каком-то из снов он очутился там, в закрытой от посторонних глаз туманами сердцевины мира. Войдя под своды хрупкой хижины, Дарксет обнаружил старый, потрескавшийся сундук. В сундуке небрежно притоплена была обычным камнем рукопись. Рядом с сундуком спала большая коричневая блоха. Здесь пахло Гумбольдтом.

26. Кажется, в этот год случилось в его жизни несколько странных вещей. Во-первых, он встретился с постаревшим и сильно сдавшим отцом, который извинился перед Дарксетом. Во-

вторых, он научился видеть невидимое. В-третьих, невидимое стало реальным. В-четвёртых, реальное преобразилось в странное.

27. В новом для него мире странного Дарксет прожил двадцать шесть лет, всё больше молодея и молодея. От неминуемого исчезновения в обратном его спасла ожившая мать, пустившая люльку с новорождённым сыном по реке наверх.

28. Дарксет очнулся снова возмужавшим, сильным и крепким. Подобрали его, правда, из реки лихие личности, продали в рабство Батырхану, султану Малого Уступа. Отсюда был только один путь – в страну Большого Уступа, где вместо рабства процветала полная свобода.

29. С этой свободой у Дарксета не заладилось, и он поднял свободных граждан на бунт. Среди основных лозунгов в те годы у народа пользовался популярностью призыв к возвращению в рабство. Революция победила, но новые времена Дарксету были неинтересны.

30. Он вернулся куда-то к себе, в далёкую тихую гавань, скрытую от посторонних. Чем-то спокойно занимался, о чём-то размышлял, о ком-то заботился. Жил, задумчиво замерев на перепутье.

31. И где-то там встретил её, с мерцающими глазами, наполненными скромной, но густой любовью. Она подарила Дарксету чувство важного и глубокого, того, чего у него ещё не было. Он так и не определился с тем, что это и как им пользоваться, но тем не менее бережно сохранял в себе ощущение непонятного.

32. В один день, внезапно пахнувший хмурой тревогой, его нашли три суровых, дышащих опасностью охотника. Торжественно вручив Дарксету метку, они исчезли, растворившись в воздухе. В жизни намечались большие перемены...

33. Метка была оранжевого цвета, что значило – пора выдвигаться навстречу неизбежному. Простившись с уютно шелестевшим *карельками* и *резельдой* в цветочном саду, поцеловав любимую в солёные от слёз губы, Дарксет выступил в свет.

34. Он шёл через лес, аккуратно переступал по берегу реки, заходил во все те уголки и местечки, в которых бывал раньше, разговаривал со знакомыми и незнакомыми, узнавал всякое важное и неважное. Дарксет снова шёл.

35. И однажды остановился, в тот самый момент, когда хранившееся внутри ощущение непонятного полыхнуло прозрением. Так Дарксет нашёл себя в дне Полной Гармонии. Навстречу выступили Гумбольдт и тёмный человек, и он всё понял.

Что ещё можно сказать о Дарксете, то ли герое, то ли страннике, то ли легенде, то ли обыкновенном фантазёре, придумавшим всё о себе в ту секунду, когда тускло подмигнул ему осколок старого зеркала в сарае?

Во сне и наяву

Вырвавшаяся наружу кукушка вдохнула полной грудью пьянящий утренний воздух и с лёгкостью зашелестела через листву вверх, к проглядывавшим пятнам голубого, манящего, никогда ей раньше не встречавшегося.

Продравшись через мохнатые, влажные, шумящие сквозняками лапища деревьев, она со всего маху вляпалась в бездонный синий океан, который только кое-где был припорошён белоснежными шапочками, оранжево подкрашенными восходящим вдалеке солнцем.

В хлынувшем со всех сторон приволье было что-то настолько безумное, беспощадно радостное, что в голове щёлкнуло, и кукушка на пару секунд забыла, что нужно лететь. Быстро, однако, спохватившись, она вновь подтянулась повыше, и, нырнув через облако, огляделась.

Внизу, во всю ширь её зоркого охвата, и дальше, за горизонтом, лежал лес. Отсюда он казался бесконечным, это было громадное, едва колыхавшееся густо-зелёное поле – могучее полотнище, с разъедавшими рощи проплешинами полянок и пасаек.

Кукушка плыла и плыла по воздуху, высматривая, устремляясь вперёд взглядом, но лес не заканчивался, хоть уже и солнце полностью выскользнуло, и густые облака, сбившись в стайку, замерли в одной точке под небом.

Внезапно внутри заколыхалась лёгкая усталость, и кукушка спикировала вниз, выбрав скривившуюся наискось ветку угрюмого дерева. Мягко присела и тут же защипала себя со всех сторон, приводя в порядок всклокоченные перья.

– В пути или сбилась?

От неожиданности она дёрнулась, завибрировала приподнятой когтистой лапкой, но всё же удержалась и не опрокинулась.

Этим вопросом вскаркнул старый, дряхлый грузным туловом ворон, проявившийся из сумерек на соседней ветке.

Кукушке он не понравился, чудилось в его вертлявых, слезящихся глазах что-то неприятное, туманно-ненадёжное.

Она наблюдала, а ворон ржаво стрекотнул:

– Так как?

Ответить что-то надо, невежливо ж молчать. Да и к тому же, может, расскажет он что полезное?

Кукушка щебетнула:

– В пути, но пути ещё не знаю. Я только освободилась. И кроме леса вокруг ничего не вижу. Теперь уж я думаю, а что-то ещё тут есть?

Показалось, что в вороньем клюве скользнула торжественно-мрачная, злорадная улыбка, но разве ж птицы умеют улыбаться? Нет, всё же показалось.

– Есть, всё есть. Есть такое даже, о чём лучше не чирикать. Так ты, стало быть, из тех?

И что на это отвечать? Кукушка вопроса не поняла, просто не знала – из тех она или из этих, или, может, вообще, из каких-то других.

Злить старика не хотелось, поэтому она просто мотнула головой в расплывчатой невнятности, подумав, что, видимо, ничего с ним не добьётся.

– Нет, не из тех ты. Беспородная, теперь ясно вижу. Но странная. И не из этих тоже, стало быть. А из чьих же, откуда вылупилась?

Кукушка задумалась, – вот если сказать, то поймёт он? Но ведь неизвестно как оно всё у них тут, не исключено, что таких, как она, на самом деле, много, и древний ворон просто щиплет её хитрой проверкой.

Рискнуть можно, деваться-то всё равно некуда:

– Механической была. Жила там... у одного. А сегодня надоело, выскользнула сама не понимаю как, да и вспорхнула вверх, в синь вокруг солнца. Вот сюда добралась, а тут вы.

По внезапному вороньему копошенью в елозящих листьях, кукушка поняла, что чем-то она его удивила всё же...

– Механических ещё не встречал, это ж разве такое бывает? Проясний-разьясний.

Кукушка задумалась, поскольку и сама ничего про себя толком не знала.

– Ну, очень долго жила в будке, двигающей вперёд время. А точнее, – и не жила, а отщёлкивала бессмысленное «ку-ку-ку-ку» и тут же замирала в безмыслии. Кое-какие мысли появились только недавно, будто очнулась, понимаете? И вот как-то само по себе получилось, что я тут.

Ворон вертел недоверчивым крылом, подмигивал выставленным на неё подслеповатым глазом. Долго молчал, смурно выхмыкивая в клюв, и, наконец, определился:

– Не верю. Не бывает такого, чтобы птицы жили в будке со временем. Враньё всё твоё механика. Вот же птичьё пошло, а, горазды вешать лапшу по крылам стариковым...

И сорвавшись тяжким булжником, ворон упал куда-то вниз, шпаря по веткам отчаянным криком «Карррррма мррррака».

Кукушка, не задумываясь, бросилась вслед. Мгновенно она потеряла ворона в лабиринте бьющей отовсюду беспощадной листвы. Рванула в одну сторону, в другую, ещё куда-то, затем обратно, снова вверх-вниз, но так никого и не нашла – только мошкара приплясывала вокруг, будто издеваясь, радуясь её неудаче.

С досады кукушка кинулась сквозь лес напрямую, держась ближе к земле, перебирая кончиками крыльев по задиристым кустам с тяжкими гроздьями плодов, орехов и ягод, раздирая паутину и сшибая разлапистую поросль в зарослях. И бултыхнулась, наконец, на берег, в освежающий плеск припрятанной камышами заводи.

Только тут, на плавучем островке из палок и соломы, укутала её уютная, обволакивающая ленью нега, в которой приятно было томиться. Вокруг шелестели шорохи высаженных в воду ломких стеблей, повыше переливались сквозь мушиный гуд щеглы, робко и осторожно пробурчал вдали громовой пережат медленной ползущей тучи: пожалуй, о такой идиллии давным уже давно грезил обыкновенная часовая кукушка.

Между тем островок, подхваченный слабым пережатом волны, вырвался из камышей и потёк по ручью.

В полудрёме на противоположном берегу начали проступать диковинные картины. Выскочила из кустов седая кошка, скользившая в высокой траве бледным игривым пятном до разлапистой ивы, растворявшейся за поворотом долго-долго. Потом выкатился из невидимой норы заячий ком, тут же, впрочем, взорвавшийся брызгами у большого камня и всплывший уже хищной хвостатой рыбиной только затем, чтобы сорваться из ручья и взлететь не пойми кем в наступающую хмурость тучи. Из воды то и дело вырастали сухие щупальца, с нанизанными кое-где зелёной опушкой листьев, – они двигались, колыхались, изворачивались то ли от ветра, то ли просто разминаясь...

Так и плыли мимо кукушки всякие чудеса, пока догонявшая солнце туча не сгустила всё мрачноватыми красками. В предгрозовой хмурости проступили внезапно на берегу очертания разбитой какой-то и замусоренной набережной, один вид которой разжалобил на печальные стоны вырвавшихся из ниоткуда чаек.

Сам ручей расступился, и с одной стороны обмяк вдаль бескрайним морем, – туманным, хмурым, совсем не летним. Кукушкино гнездо ткнулось в скалистую форму уродливой каменной пятерни, да так и застыло, приподнимаясь и опускаясь только под наплывающими волнами.

Напротив, на берегу, щербатым кривым амфитеатром спускалась к воде бетонная лестница. Где появилась безумная троица, – патлатые парни с бутылками в руках и гитарой.

Ребята довольно шумные: с матерком настроились пить и под это дело петь. Песня, правда, получалось у одного, но и то, скорее, наброски песни – невесело, тоску нагоняющей. Если вслушиваться, то мелькали слова «солнце», «огонь», «ладонь» да «кулак» – вроде и сильные слова, грозные, но при сумрачности певца выдававшие его слабость, неуверенность, беспокойство.

Очень быстро все трое примолкли. Только курили, хищно потягивая из бутылок, смотрели в разные стороны и думали о своём. Гитара, бренькнув, спустилась под ноги певцу, а сверху застрочили первые, тяжёлые капли.

В туче громыкнуло, очертив сидевших на берегу вспышкой молнии, и дождь полил сильнее. Один из парней заозирался, отмахиваясь рукой с дымящейся сигаретой от невидимых капель:

– Зарядило...

Второй молча кивнул, а певец крепко притопнул по лестнице.

– Пора валить, всё равно уже всё выпили.

И они как-то плавно, вместе разом, приподнялись, тут же растворившись в воздухе.

Кукушкин островок тоже снялся с невидимого якоря, заскользив дальше. Набережная исчезла, и вместо неё из наступающей дождевой пелены проступили всякие тени. Тянулся ввысь позолоченный шпиль с грустным корабликом, смутно проявились громадные разломанные мосты, возникали и разлетались в прах величественные здания с выступавшими белыми фигурами, и эхом, секунда через секунду, настигал со всех сторон мерный тревожный постук, будто оповещающий о страшном...

Эти и всякие другие неясные в дымке образы закрутились вокруг, быстро, впрочем, угасая, успокаиваясь и превращаясь в клубы разлёгшейся у воды зелени.

Давно уже разродилась туча дождём, выпустила из плена обрадованное солнце, а кукушка только сейчас встрепенулась спросонья в гнезде. Отряхнувшись, она осмотрелась и решила на вылазку – сколько ж плыть можно?

И едва поднырнула в воздух, расправила крылья, как подхватил её объятиями ободряющий ветер, мягко переправив в липкий, волглый песок. Где она уже устроилась окончательно, замерев между округлостью булыжников.

На берег выступили трое. Осматриваясь, они прошлись туда-сюда, выворачивая в руках излучины луков.

– Вроде в камни шмякнулась, не?

– Посмотри там, в камышах...

– Или до того берега дотянула?

– Не дотянула б, удар был смачный.

– Да, я видел, что аж перекувыркнулась на излёте...

– Хорошо пригвоздил ты её, да; повороши вон там.

После минутной возни вокруг да около один удивился:

– О, смотрите какая тут красавица...

– Деревянная, такие в часы раньше засовывали.

– Изящная штучка, а? Возьму себе её.

– На кой член?

– На шею можно приладить, на счастье.

– Либо свистульку сварганю, тоже хорошее дело.

И кукушка обрела нового хозяина.

Гумбольдт

Одним томным, ленивым днём Битюжка, Крох, Михрюта и малыш Пино расположились в дальней, увитой диким плющом беседке.

В последнее время нечасто они собирались тут, но сегодня сами, не сговариваясь, чуть ли не вместе вышли из леса, облюбовав любимейшие местечки вокруг странного стола.

Стол был странен тем, что несмотря на кривые свои лапы, грубо стёсанные занозистые края и чуть покатую поверхность столешницы, всегда притягивал их к себе едва приметной идеальностью. О чём лишний раз напомнил малыш Пино, бумкнув по нему костлявым кулачком:

– Царский стол. Я такие видел на картинках в книге у Кроха. Как она там у тебя называлась?

Едва пришедший в себя Крох подозрительно скосил глазами в сторону:

– Понятия не имею, о чём ты.

– У него книги непонятные, – встрял Битюжка. – И я ни разу там картинок не видел, что-то ты путаешь, Пино.

На это тот чуть ли не оскорбился:

– Да были, я как сейчас вижу. Сидят там всякие бородатые, непонятные такие, в железе, с подцепленными мечами. А стол у них кружится, – картинка аж ожила передо мной. Вот так – хресь-хресь-хресь...

И он закрутил пальцем под вялым носом Битюжки.

Михрюта тяжко вздохнула, а Крох недовольно буркнул:

– Тебе бы, Пино, делом заняться. Хоть и мелкий, а лезешь куда не звали. Сюда тебя, между прочим, не звали...

– Так и тебя не звали, – резво отпарировал Пино. – Мы все сами пришли. Или ты забыл, как действуют беседка и стол?

– Да никак они не действуют, – ответил Битюжка. – Это ж просто беседка и стол.

– Стол странный, – напомнил Пино.

Михрюта снова вздохнула, прикрыв непослушной, спадающей чёлкой утопающие в печали глаза.

– Что в нём странного, – отмахнулся Битюжка. – Враки. Он же не из подарков Гумбольдта... А ты, кстати, Пино, где был, когда Гумбольдт приходил в последний раз?

Крох скосил глаза на закисшее в гримасе лицо Пино.

– Где-где... В Барабанде. Надоел мне ваш Гумбольдт. Что он вот тут ходит, будто мы дети какие-то...

Крох прихмыкнул:

– Ну ты-то точно ребёнок, которому всегда восемь.

– Всегда восемь мне уже восемьдесят восемь. Лет. Так-то я побольше вас всех видел. Помню даже те времена, когда и беседки не было со странным столом. А вас и подавно. Поэтому – что вот тут Гумбольдт ходит?

Михрюта совсем пригорюнилась. Закутавшись в приглаженные шелка распущенных волос, она даже привсхлипнула.

– Гумбольдт, Гумбольдт... – задумался Битюжка. – От него пользы, конечно, никакой, но он всё же старается, приносит всегда интересное. А ну, Пино, расскажи нам про наши последние приключения с ним связанные, у тебя хорошо получается.

– Вот ещё, – Пино надулся. – Ваши приключения, вы и рассказывайте. Только лучше не рассказывайте, потому что скучные они.

Битюжка смачно подмигнул малышу Пино:

– Потому и просим тебя рассказать. Нескучно.

– Нескучно я могу про другие ваши приключения поведать, о которых вы не знаете...

Тут чуть оживилась и Михрюта, выпустившая из плена волос наружу один глаз.

– Просим-просим, – забурчали Битюжка с Крохом, а Пино, поёрзав для форсу вокруг стола, начал:

«Ну, дело было так...

Битюжка сорвался из дома, и помчался, побежал, запрыгал на встречу с Гумбольдтом. Нёсся так, что бабочки за ним не попевали, хоть и очень старались. Но куда уж там его обогнать...

Летел Битюжка с такой стремительностью, что чуть не прозевал Кроха. А тот, как это часто бывало, сидел на полянке с задумчивым видом и созерцал. Очень любил Крох созерцать, усядется где-нибудь в сторонке и сидит, смотрит в одну точку. О чём думает при этом – попробуй угадай. Если его отвлечь от созерцания и спросить о размышлениях, то ничего путного Крох рассказать обычно не мог. Просто пожимал плечами, тяжело вздыхал и отправлялся по делам.

Вот именно на такого, созерцающего Кроха, и наткнулся Битюжка. И обрадовался встрече, поскольку устал бежать, а внушительной причины для остановки придумать не мог.

– Привет Крох, уфуфуф... – пытаюсь отдышаться, сказал Битюжка. – Ты опять... офоф... созерцаешь?

Крох не ответил, а только с глубоко задумчивым видом посмотрел на Битюжку.

– Крох... ыхых... надо спешить, Гумбольдт вот-вот появится. А ты тут расселся, как будто вся жизнь впереди. Я уж бежал, так бежал, что сам видишь... фырфырк...

Крох, наконец, вылез из созерцания, пожал плечами и тяжело вздохнул.

– Привет Битюжка. А ты знаешь, что Гумбольдт вот-вот придёт? Я к нему как раз иду.

Битюжка снова фыркнул:

– Куда ж ты идёшь, когда сидишь на полянке и созерцаешь? Так ты к нему никогда не придёшь. Хорошо, что я тебе попался, иначе бы ты тут застрял на полдня или до конца жизни. Идём вместе теперь, только надо спешить.

И они пошли на встречу с Гумбольдтом. Битюжка уже не бежал, потому что медлительный Крох тут же безнадежно отставал. Но шли они довольно бодро, и выскользнули к реке как раз в тот момент, когда появился Гумбольдт.

На встречу с ним собрались все. Шумели, как обычно, Рапс, Смеховик, Лампочка и Зюзя. О чём-то спорили братья Щуца, Щаца и Щощо. Подмигивали друг другу Шранк и Берта. Бродил в сторонке одинокий Попугайчик. Ну и остальные были тут.

Михрюта между прочим тоже пришла – она легонько пританцовывала на песочке у воды. Надо сказать, что она всегда танцевала, когда волновалась или ожидала чего-то нового.

Но вот вышел Гумбольдт и всё примолкло.

– Дорогие друзья! Рад видеть вас на очередной встрече. С новым Гумбольдтом вас, а новый Гумбольдт, как вы уже, наверное, догадались – это я.

Все хором и немного нестройно затянули в ответ:

– С новым Гумбольдтом!

Белоснежно бородатый, загадочный и бесконечно добрый Гумбольдт улыбнулся:

– А хорошо ли вы себя вели? Не ругались ли тут друг с другом? Не ссорились?

Обычно все отвечали на этот вопрос так, как будто и правда всё у них было замечательно. Хотя на самом деле и ругались, и ссорились, и обижали, и иногда даже чуть-чуть мутузили друг друга – куда ж без этого? Но правило хорошего тона обязывало немножко обмануть Гумбольдта, чтобы он со спокойной совестью мог раздать волшебные подарки.

Вот и в этот раз, поглядывая друг на друга, все заявили, что вели они себя прекрасно.

Гумбольдт кивнул и ласково произнёс:

– Ну что ж, тогда я приходил сегодня не зря. И раз все такие молодцы, то настало время подарков.

Тут же в воздухе появился большой толстой мешок, который плюхнулся Гумбольдту прямо под ноги.

Он начал вызывать по очереди к себе каждого, вручая что-то особенное и очень важное. Всегда это были разные подарки. Михрюте в прошлый раз Гумбольдт преподнёс очки правды. Надевая их при разговоре с кем-нибудь, она видела – обманывает её кто-кто или нет. Но правда заключалась в том, что и сама она соврать ничего не могла, если очки были на носу.

Битюжке однажды Гумбольдт подарил банку бесконечного малинового варенья. Бесконечным оно оставалось в том случае, если он от щедрости сердечной угощал не себя, а кого-то вареньем.

Крох получил как-то от Гумбольдта книжку счастья и горя: если читать её с одной стороны, то попадались только хорошие, весёлые истории. Если читать с другой, – то грустные, печальные, а иногда и вовсе страшные сказки.

Очень странные встречались подарки в мешке у Гумбольдта. И надо ли говорить, что Михрюта скоро очки правды разбила. Стоит ли упоминать, что Крох открыл книжку счастья и горя на середине, созерцал целых два дня, а потом выкинул её в реку. А Битюжка, попытавшись угостить вареньем сидящего за печкой паука и себя, внезапно обнаружил, что и всего-то в банке варенья на две ложки, и никакое оно не вечное.

Очень, очень это были странные и непонятные подарки. Но тем не менее все встречались с Гумбольдтом каждый год, принимали из мешка им причитавшееся и расходились пробовать подаренное.

Сегодня Михрюта получила волшебную палочку, которая исполняла только полезные желания, помогающие ей или друзьям в сложных ситуациях. Кроху достались часы-бегунцы: в минуты опасности они могли то ускорять, то притормаживать время для своего хозяина. Ну а Битюжке Гумбольдт вручил свисток, который вызывал удалого молодца на помощь.

И вот уже друзья возвращались по домам, обсуждая подаренное. Каждый думал о том, что с этими подарками случится что-то необыкновенное. Всегда так было с вещами, которые презентовал Гумбольдт, – ничего долго ни у кого не задерживалось.

Необыкновенное началось в тот день, когда Битюжка решил вызвать помощника только потому, что ему стало скучно. Хотелось развлечься, поиграть во что-то новое, услышать чудную историю, и он подумал, что помощник точно его развеселит.

Дунув изо всех сил в свисток, Битюжка притаился. Через пару мгновений возник удалой малый, – красивый, бородатый, с сияющими глазами.

– Удалый малой – перед тобой! Чем помочь, хозяин?

Обрадовался его появлению Битюжка и тут же пожаловался:

– Скучно мне, аж зевать охота... Помогите, развлеките?

Усмехнулся удалой малый, прищёлкнул пальцами и заплясали вдруг разноцветные грибовики, взявшиеся из ниоткуда. Налетели сверху поющие ангельские птицы, закружились колокольцы в нежном звоне, и преобразился мир вокруг так, будто попал Битюжка в какую-то сказку.

Между тем подхватил его на спину весёлый рыжий муравей, и понеслась большая поющая-танцующая компания куда-то вспять. Битюжка смотрел по сторонам и удивлялся, – вмиг растаяла скука. Какая уж тут скука, когда несётся пёстрая толпа под радостную музыку, шумят и бурлят всякие-разные звери, – настоящий праздник наступил!

Всё успокоилось в одну секунду, мгновенно остановившись и затихнув в пространстве громадной сумрачной поляны. А успокоилось, потому что подняла руку сидящая на огромном троне Большая Белая Королева и произнесла торжественным голосом:

– Друзья! Вот и настал час великого превращения. Этой чести сегодня удостоивается Битюжка – потому что Битюжкой ему уже быть скучно. Что скажешь, в кого бы ты хотел превратиться?

Битюжка испугался. Поскольку он не желал ни в кого превращаться. Его вполне устраивало быть самим собой, несколько это было не скучно. Ведь если в кого-нибудь другого превратиться, как знать – понравится это ему или нет?

Тем не менее Битюжка чувствовал, что Большая Белая Королева не шутит, и все действительно ждут превращения – в таком молчаливом внимании на него смотрят...

И он тут же кое-что придумал. Обратившись к Большой Белой Королеве, Битюжка произнёс:

– Хочу превратиться в Михрюту с волшебной палочкой в руках.

Большая Белая Королева понимающе улыбнулась и сдула с ладони пыльцу, провозгласив:

– Исполнено!

Битюжка ничего не почувствовал, но вдруг сообразил, что теперь он – Михрюта. Взглянув на руку, увидел, что эта Михрютина рука, сжимающая подаренную Гумбольдтом волшебную палочку.

В это же время вокруг все снова заплясали, затанцевали, в восторге заголосили:

– Из Битюжки в Михрюту – в одну минуту. Ай да Большая Белая Королева, слава ей, слава Королеве!

Но Михрюта чувствовала, что внутри она по-прежнему остаётся Битюжкой. Поэтому очень тихо, пока вокруг бесновалось веселье, приказала волшебной палочке:

– Выручай, родимая, нужно, чтобы появился тут же, сейчас же, Крох со своими часами-бегунцами!

И рядышком действительно возник из ниоткуда Крох, с подаренными Гумбольдтом часами на руке. Судя по удивлению, Крох и близко не понимал, что происходит, как это он оказался среди бурлящей, танцующей толпы странных персонажей.

Ни минуты терять, однако, было нельзя, и Михрюта тут же затрясла Кроха:

– Нет времени объяснять, но очень нужна твоя помощь. Милый Крохотуль, давай, – прикажи своим часам подморозить время для всей этой толпы сказочных олухов.

Всегда медлительный Крох и в этот раз притормозил: разинув рот, начал бэкать-мэкать. Зная его характер, Михрюта припугнула:

– Если мы сейчас отсюда не убежим, Большая Белая Королева возьмёт нас в плен. И как знать, что с нами сделает... Смотри, Крох, смотри!

Она развернула его в сторону Большой Белой Королевы, которая, увидев, что рядом с Михрютой появился кое-кто ещё, величаво привстала с трона. Лицо её было ужасным, она, кажется, разозлилась.

И тогда Крох забубнил над часами-бегунцами:

– Часики-ходики, хочу, чтобы время замедлилось для всех, кроме меня и моей подруги Михрюты, это важно и нужно!

Что-то щёлкнуло. Михрюта увидела – внезапно все звери вокруг, да и сама Большая Белая Королева очень замедлились в движениях, будто разом переместились под воду.

Тогда она дёрнула Кроха и крикнула:

– Бежим!

Они ринулись из разноцветной толпы и летели так быстро и долго, что в конце концов просто свалились на опушке в полном бессилии.

Отдышавшись, Михрюта, которая помнила, что она всё-таки внутри Битюжки, приказала волшебной палочке:

– А теперь преврати меня обратно в Битюжку, надоело жить Михрютой.

Крох, увидев вместо Михрюты Битюжку, замер в жутком изумлении.

Рассмеявшись, Битюжка поведал Кроху о своих приключениях, и они отправились по домам.

И долго ещё друзья потом переглядывались, усмехаясь, в то время как Михрюта рассказывала о сне про Большую Белую Королеву и своём превращении в Битюжку. Они-то об этом сне всё понимали...».

Над странным столом разливалось молчание, в котором переплелись грусть с недоумением и немного тихой ярости. Последняя отсверкивала в глазах Михрюты, которая высказалась, наконец, с шепелявым присвистом:

– Врёшь ты всё, Пино. Большая Белая Королева мне, конечно, снилась, только никаких превращений этого... Битюжки? серьёзно?... в меня не было.

Пино отмахнулся:

– У тебя не было, а в моей истории ещё как есть. Это моя история, понимаешь? О чём хочу, о том и рассказываю. У меня ведь, заметьте, даже Гумбольдт какой – белоснежно бородатый, загадочный и бесконечно добрый. Хотя мы прекрасно знаем, что это всё не так. Где вы видели доброго Гумбольдта?

Крох с Битюжкой перехмыкнули в унисон. А в Михрюте взвырало не на шутку.

– Ах, вот как значит, малыш Пино? Историями решил со мной помериться, да? Ну хорошо, будет тебе история. Всем интересно послушать?

– Просим-просим, – забурчали Битюжка с Крохом, а Пино, нервно поёрзав вокруг стола, показал Михрюте язык.

«Дело было так.

Малышу Пино стукнуло в этот день восемь лет, и это были его первые восемь лет. Подарков ему не полагалось, поскольку в Пиновской семье сроду никаких праздников никто не отмечал и приятно друг другу не делал. Самым приятным было в их семье, пожалуй, прожить день так, чтобы кто-нибудь из родных не ругнулся, не выдал подзатыльник или не поколотил между делом.

Пино не повезло, и уже с утра он получил от матери хороший нагоняй, а от отца – порцию ободряющих тумачков. В наказание за плохо выметенный пол Пино вручили огромную корзину и отправили собирать жёлуди, велел по дороге заглянуть на конюшню – прибраться за стариной Нипо.

Но Пино в честь дня рождения задумал устроить бунт. Это был молчаливый бунт решительного лентяя, лентяя, который даже и близко не свернул с тропинки в сторону конюшни. Корзину он запустил в кусты *ядовитого трёхлистника*, а сам грустно вылез к своему «шалашу над морем».

Усевшись под собранной из трухи и еловых веток крышей, он снял сандалии и пятками ног забуцкал по болотистой заводи Червивого ручья. На душе у Пино чернело, как никогда, и в голову опять лезли мысли о том, что пора бы выбираться на волю окончательно. Вот только куда идти, в какую сторону податься так, чтобы уж точно обнаружить счастье?

Сидел Пино, ковыряя в носу и поплёвывая, довольно долго, даже вздремнуть успел. Солнце вывернуло за полдень, пробираясь потихоньку лучами в его сумрачную нору, колыхались в призрачном танце на дальнем островке ветвистые радужные *лилианы*, и уже пригрезился ему в очередной дрёме выползающий из Червивого ручья гигантский спрут, как вдруг сдулся этот спрут от резкого свиста.

Пино очнулся и вслушался. Свист повторился, а за ним – невнятный голос, кому-то что-то выговаривающий. Пино аккуратно вылез из-под корней гигантского *деревня* (внутри которого был обустроен шалаш), и выглянул из-за кустов.

Вырисовывалась любопытная картина. На полянку из лесу выпрыгнула жирная рыжая блоха – такие большие в их краях не обитали. Зыркнув туда-сюда перепуганным своим глазищем, она подскочила к могильному камню и, неловко присев, попыталась спрятаться.

За блохой на полянке появился некто высокий, закутанный во всё красное с нахлобученной на голову остроконечной красной же шляпой. В левой руке у красного болталась встрёпанная верёвка, которой он нахлёстывал по бедру.

Красный снова свистнул и рассмеялся.

– Ну и идиотина же ты, Курага! С твоими телесами только прятаться за могильным камнем. Проще в яму, под такой камень – тебе надёжнее, а мне спокойнее. Иди уже ко мне, лихо, лишнее на свете, пора домой.

Блоха загудела низким, влажным голосом, вывалилась из-за камня в высокую траву, упруго подпрыгнула, развернулась и, кажется, поняла, что отступать некуда – вода для блохи верную гибель обещала.

Красный настиг Курагу, мягко её приобнял, забубукал что-то на ухо, да и пристегнул верёвку к ремню, облегающему мякоть распухшей вошьей шеи.

Так они стояли, милуясь, ворча друг другу под нос, а Пино тем временем подлез совсем уж близко, в надежде вызнать что-нибудь секретно-интересное.

– Мы тебе тут не мешаем, пацан?

Вопрос красного, который даже не смотрел в его сторону, подхватил сердце Пино ледяной оторопью. Прятаться смысла, видимо, уже не имело, и он осторожно ступил к странно обнимающейся парочке.

– Ты что же, думал, – хитрее самого Гумбольдта? Шалишь, пацан, я-то тебя заприметил тогда ещё, когда Курага моя прыгнула к могилке.

Пино неопределённо пожал плечами, выдерживая сумрачным взглядом взгляд искоса глянувшего на него красного. Отражалось в нём что-то страшное, затаившееся внутри – настолько чёрное и жестокое, что мигнул, заволновавшись от подступившего страха, дневной свет.

– Чего хотел-то? Шляется он по кустам... Тебя там мать с отцом заждались, злые – злее только зимний дракон в голодный год бывает. День рождения – не повод для бунта, так-то. А хочешь уйти, так попрощаться с родными надо, чтобы честь всё по чести.

Не просто Пино удивился, а испугался уже по-настоящему. Если этот Гумбольдт запросто знает об обстоятельствах нынешнего мрачного дня, то, что он вообще знает? А вдруг ему известно всё обо всём, страшное же дело...

Гумбольдт улыбнулся, приоткрыв чёрные заострённые клычки зубов в мерзкой ухмылке. Очевидно, что и мысли пиновские он тоже читал будто по книге.

– Ладно, пацан, сделаю тебе подарок, раз толковыми родителями природа обделила. Загадывай всё, что хочешь.

Пино ни на секунду не поверил в щедрость предложения. На сердце шевелились смутные тени мыслей, пророченных из семян народных поверий, – с рассказами о тёмных магах, затаённых в подземельях Проклятого Синегорья и байками о той дани, которую они собирали в древние времена с простых жителей леса...

Но таилась в предложении чёрного сладостная прелесть сбывающихся мечт. Их у Пино было много, и так сразу даже не понять, какую именно он хотел бы извлечь на свет. Вот если бы эти чудесные восемь лет никогда не кончались... Или...

Гумбольдт заливисто, в тихом, восторженном торжестве пророкотал:

– Прррринято.

В груди у Пино снова ёкнуло ледяным, ноги ослабели. Он, заплетаясь языком, попробовал возразить:

– Но... я же... ниче.. го...

Гумбольдт его уже не слушал. Он напряжённо притаился, затем бормотнул скороговоркой:

– Конфринго-анимо-мутос.

И подпнул в воздух дико взвизгнувшую блоху, растопыренные когтистые лапы которой через мгновение перечертили весь мир Пино. Всё ухнуло во вспышке кромсающей боли, после чего наступил покой...».

Странный стол задрожал мелкой рябью, выпустив из-под себя нырнувшего к ножкам Пино. Его изящный кульбит закончился у узорчатого проёма решётки, – скорчив противную гримаску, с языком, Пино завопил:

– А зато мне всегда восемь лет. Вот так. И Гумбольдт ваш гуляет лесом.

Вывалившись из беседки, он резво скакнул метра на три, затем ещё и ещё, упрыгивая куда-то в сторону шелестевшей на ветру дубравы. Где и скрылся, странно вздёрнув напоследок кривыми безвольными руками.

Битюжка и Крох ошалело переглянулись, а Михрюта снова спрятала лицо в волосы. И голос её из укрытия звучал глуховато, будто в подушку:

– Вы же поняли?

Битюжка недоверчиво облизнулся, а Крох пискнул:

– Так Пино – он блоха?

Михрюта тяжело вздохнула.

Безумные приключения Попугайчика начинаются: птичья совесть

Сорок третье джукабря четыре тысячи сто двадцать первого года выдалось для Попугайчика беспокойным.

Не задался день с самого начала: кукушка в отведённые ей семь утра не выскочила из скворечной будки, как будто задумалась на пару мгновений, а затем, вспомнив о своём долге, решила – теперь уж поздно, момент упущен, не покажусь наружу, чего позориться...

А Попугайчик ждал её, кукушку. Проснувшись, как и обычно, чуть заходя, буквально за пару минут до концерта, думал о всяком, бессознательно ожидая первого для него, упорядочивающего утреннее бытие «ку-ку». Но оно всё не шло, и Попугайчик начал беспокоиться – уж не случилось ли чего? С ним ли, с кукушкой или с миром, который растворялся в предрассветных сумерках за окошком? А может, всё дело в часах? Но вроде нет – они-то как раз перестукивали мерно ходиками, напоминая о том, что всё в порядке и время идёт своим чередом.

Нетерпение, волнение, внутренняя дрожь Попугайчика нарастали – время уходило, а кукушки всё не было. Он начал возиться в постели, нервно позёвывать, тоскливо поглядывать в тёмный угол дома, куда как раз скользнул сквозь щёлку странный и непонятный луч... Время утекало, терпение – на исходе, и вот уже кажется, что придётся сегодня (в самую-то рань!) менять такой с трудом заведённый распорядок со всеми установленными ритуалами.

«Что же это за горе и неприятности?» – стонал про себя Попугайчик. «Уж столько лет ничего не приключалось, и вот, подумать только, кукушка исчезла. А значит, – надо ждать беды покрупнее, всегда ведь что-то ужасное начинается с потерянных кукушек...». Он уже беспокойным сердцем ощущал подступившую к дому ледяную глыбу неизвестности – своей мёртвой неизбежностью она напирала, захватывала пространство и с мягким хрустом опрокидывалась на хрупкую его головёшку...

Чуть не вскрикнув от ужаса, Попугайчик вскочил и замер; прислушиваясь, всё ещё надеясь на то, что всё-таки что-то случится, и кукушка с извиняющимся запоздалым отчаянием исполнит утренний долг. Однако тёмное пятно висящих на стене ходиков угрюмо хохлилось, щёлкало секундами, но кукушку не выпускало.

Попугайчик начал аккуратно, мелкими шажками подвигаться к часам. Когда он уже совсем вплотную подступил, настолько, чтобы видеть усы едва подвижных стрелок, приключился второй припадок безмерного ужаса: ходики показывали пятнадцать минут восьмого. То есть, обнаружили пятнадцать минут кошмарного кукушкиного опоздания – вот он, этот мир отчаянного хаоса, в котором теперь предстояло жить...

Попугайчик судорожно припоминал – а когда он последний раз слышал кукушку? Ночью-то, сквозь сон, он и близко не обращал внимания на её ежечасные зовы, а вот вчера, перед сном, не было ли тут чего-то странного? Может, она совсем ни при чём, эта вздорная кукушка, а во всём виноват механизм сошедших с ума часов, заперших её навеки?

Сколько ни тужился, ни пытался он восстановить в голове события прошедшего вечера, всё без толку, не вырисовывалось воспоминаний.

В этом, пожалуй, виноват сам Попугайчик – уж настолько им был заведён один-единственный, ничем не нарушаемый порядок, что дни протекали в ритме большого, бесконечно повторяемого супер-дня. В этом супер-дне было многое предусмотрено. И еженедельные походы в продуктовую лавку, и ежемесячные свидания с Леди Пирожное под Луной, и ежегодный соло-концерт в честь дня Рождения, и много ещё всякого, что спланировать несложно.

Но вот чего там точно не было, так это воспоминаний о проживаемом супер-дне. Поскольку какой смысл запоминать то, что и так идёт своим чередом, почти точь-в-точь повторяемом?

Одним словом, уверенности во вчерашнем дне у Попугайчика не было. Теперь он крепко задумался – а так ли уж хорош заведённый им порядок, если любой непредвиденный сбой выдёргивает почву из-под его ног и сеет зёрна сомнений в себе?

Затаившаяся в тесной часовой пещерке кукушка прямо-таки каждым струганным своим пёрышком ощущала разливающуюся неуверенность Попугайчика. И совесть покалывала ещё больше – ну чего стоило вылезти и прокурлыкать это дурацкое «ку-ку, ку-ку» ровно в семь-ноль-ноль? Замешкалась-то она всего на доли секунды, можно было бы выпорхнуть слегка позже, он бы и не заметил заминки. Стыдно, птичка, чрезвычайно стыдно!

И уже никак этого не замазать, придётся притворяться, что что-то в тебе сломалось или в часовом механизме пошло не так. А потом, когда Попугайчик бессмысленно потыкается отвёрткой внутри её домика, внезапно вспорхнуть с натужным «ку-ку, ку-ку» только лишь для того, чтобы убедить его – всё пришло в норму, и ходики можно вешать обратно. Ничего не поделать, таковы уж правила сожителства с Попугайчиком – убеждать в нормальности заведённого им распорядка...

Растянувшиеся минут на пять размышления Попугайчика, однако, ни к чему не привели. Он решил отложить вопрос с кукушкой на потом, разобраться с проблемой в течение дня.

Тяжело вздохнув, Попугайчик внезапно с третьей волной ужаса понял, что двадцатиминутная заминка с часами лишила его на сегодня утренней зарядки. Сейчас уже поздно начинать, не спасут те пять или десять сделанных невпопад движений руками и ногами, бессмысленно даже пробовать... М-да, вот так и летит всё в тартарары, всё важное – корове под хвост.

Корова! Манька его ненаглядная, уфф, как он вовремя вспомнил. Ведь самая пора её навестить с ведёрком заготовленного накануне корма. И не просто проведать-накормить нужно, а как следует выдоить, утренний надой как раз самый важный, задающий настроение на весь день и ему, и Маньке.

Накинув серый халат, Попугайчик подхватил ведёрко и выскочил из дома. Тут уже всюю ёжился и расправлялся ранний осенний рассвет. Солнце приятно клубилось в облаках за дальним прилеском, гомонили какие-то беспокойные птахи в желтеющей листве, и всё было в сладость.

Ворвавшись в хлев, Попугайчик с нежной умильностью повис на шее Маньки. Только она могла его сегодня утешить и хоть как-то вывести из мрачных мыслей о потерянной кукушке. И пока корова чавкала из корыта наваленными корнеплодами, он размышлял о том, какие беды ещё сегодня навалятся (а в том, что будет что-то, – сомнений не было).

Манька, кажется, чужла его беспокойство, поглядывала искоса и всхрапывала как будто недовольно, соглашаясь в несправедливости тяжко навалившегося дня. Но вместе с тем и приободряла, показывала своим видом, что, может быть, всё ещё обойдётся. Надо просто взять себя в руки и...

Манькино понимание понравилось Попугайчику – он довольно чмокнул коровёнку в нос, подвинув ногой под неё чистое ведро. Затем, надев рукавички, подсел под грузный круп и ухватился за мягкую упругость вымени.

Священнодействие дойки Попугайчик давно уже сравнивал с чем-то поистине неземным – такое славное удовольствие он испытывал, разминая пальцами манькины сосцы. Иногда чудилось, что не молоко он из коровы выдаивает, а перебирает по струнам какого-нибудь музыкального инструмента – нежно, ласково, трепетно и с лёгкой страстью. Появлялись даже отзвуки волшебной мелодии – то ли воображаемые, то ли реально рождаемые переплетением гамм манькиного сопения-пыхтения с отзвуками лиричных соприкосновений тонких молочных струй о жёсть ведёрка. Впрочем, вполеталось в мелодию и ещё нечто неуловимое, что, соб-

ственно, и превращало звуки в музыку – необъяснимое, зарождаемое в глубинах его души. Попугайчик называл это вдохновением, именно оно и восхищало, заставляя трепетать всеми внутренними фибрами. Вдохновенная дойка – прекрасно же.

Однако, вот беда, сегодня музыки Попугайчик не ощущал. Пырц-пырс-пырс – наполнялось постепенно ведёрко теплотой и вкуснотой, и никакой тебе музыки. Дойка была не в радость, а всё потому, что тёмные, гнетущие мысли закручивались тучами вокруг проклятой кукушки.

Попугайчик с раздражением и даже неожиданной злостью дёрнул сосец в последний раз, глянул на правый звёздный индикатор молочности. Тот мерцал на бурёнкинском боку угасающим светом, как и всегда в моменты постепенного Манькиного опорожнения. Хоть с этим никаких неожиданностей. И целое молочное ведёрко готово – красота!

Утреннего ведёрка Попугайчику хватало на весь день – молоко он любил как никто другой. Второе ведёрко, получаемое им от Маньки после обеда, превращалось с помощью нехитрого заклинания в молочное облако: быстро вспархивающее вверх, оно тут же уносилось в неизвестные дали, радовать кого-то лёгким молочным дождём. Вечернее же ведёрко Попугайчик аккуратно спускал на верёвке в гномью шахту – там, внизу, напиток принимали и возвращали обратно посудину пустой. Всё это хозяйство вроде простейшее, но требующее к себе ежедневного внимания, что, впрочем, его вполне устраивало.

Обняв на прощание, потискав Маньку как следует за бока, Попугайчик подобрал ведёрко и вылез из хлева. Тут же опять подхватили мысли о злосчастной кукушке, и пока он их думал-перемалывал, ноги по дороге к дому совершили форменное предательство: запнувшись о корягу, перекувыркнули тело в воздухе раза три-четыре.

Растянувшийся на земле в неестественной после кульбита позе Попугайчик размышлял о том, что проклятый день только начинается. Ещё даже время завтрака не подступило, а уже столько неприятных происшествий. Где-то внутри зрела мрачная мысль о том, что, до вечера, а, может, и до обеда, он просто-напросто не доживёт, – это ведь всё будет идти по нарастающей.

Поднявшись, Попугайчик даже не взялся за поверженное в тоске пустое ведёрко – пускай уж валяется теперь до обеда. Без молока он как-нибудь день проживёт, но что же, что его ждёт дальше?

Запершись в доме, Попугайчик сразу же упёрся взглядом в часы. Расцветая в пробуждавшемся законном утре, они вроде бы чуть насмешничали, по-прежнему помалкивая о тайне кукушкиного исчезновения. Нет уж, нет, ни единой мысли в том направлении, надо браться за завтрак.

Отношения с пищей у Попугайчика были несложные. Подчинялись они тоже заранее придуманному, лишь в праздники изменяемому ритуалу. По утрам всегда либо каша с краюхой хлеба и стаканом молока, либо яичница с краюхой хлеба и стаканом молока. На сегодня уже заготовлены были два угнездившихся на блюде яичка, внутренности которых отчаянно просились на жаркую, скворчащую маслом сковородку.

Огонь в печи радостно подлизывал дно подsunутой на рогатине чугунной посуды, и пока масло закипало, Попугайчик меланхолично закрутил яички по сложной траектории на столе. Печалился он о том, что и традиция завтрака идёт теперь вкривь-вкось, ведь вместо молока ему сегодня придётся наливать в чашку подкрашиваемую вишнёвым вареньем воду. А всё почему? Да потому что проклятая кукушка, видите ли, вздумала выпорхнуть из насиженного гнёздышка.

И чпокнув яичные желтки на поверхность возмутившейся маслом сковороды, он снова глянул на ходики. Потрескивали дрова в печи, оформлялись постепенно два жёлтых неровных островка посередине белых водоёмов с обугленной корочкой, молчали часы на стене, и только мысль Попугайчика выгрызала самое себя, пытаясь разрешить загадку исчезновения.

И знать не знал, думать не догадывался Попугайчик о том, что эта загадка останется неразрешённой во всю его жизнь. Поскольку гнетущая кукушкина совесть, разогнавшись в обвинительных речах, заставила птаху вылезти из укрытия и мызнуть на волю из-под ног рассеянного Попугайчика ровно в тот момент, когда он переступил через порог дома после визита к Маньке.

Такой вот удивительно безответственной оказалась птичья совесть.

Небылица о том, как Большая Белая Королева познакомилась с Маленьким Чёрным Слугой

Очень странно себя чувствовала в последнее время Большая Белая Королева. Было душно, везде, всегда и неизменно. Не потому душно, что погода чудила, а как-то само по себе, на душе.

И чего она только ни придумывала, чтобы избавиться от угнетающей хандры. Пила целыми днями любимую минералку с изящно насаженным на край бокала ломтиком лимона. Гуляла, задумчиво жонглируя кружевным зонтиком, по аллеям Воздушного парка. Донимала бесконечными монологами Старого Гейла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.